



КАРЕЛ ЧАПЕК

Рассказы

Новеллы Карела Чапека, которые предлагаются вниманию читателей, вошли в сборники, озаглавленные «Рассказы из одного кармана» («Преступление на почте», «Человек, который никому не нравился») и «Рассказы из другого кармана» («Рассказ об утерянной ноге», «Обыкновенное убийство» и «Человек, который не мог спать»). Оба сборника вышли в 1929 году. Большая часть рассказов была написана незадолго перед этим и публиковалась в газетах и журналах. Писатель вспоминал, что он сочинял их в трамвае, по дороге в редакцию, и каждый день отдавал в печать по одному.

Критика поначалу склонна была рассматривать эти новеллы как очаровательные, мастерски сделанные безделушки. Автора удивила и оскорбила такая оценка: «Я не хочу жаловаться, но эти книги не были правильно поняты. Это вовсе не пустячки, я считаю их такими же серьезными, как и остальные мои книги». Действительно, в этих маленьких шедеврах новеллистики мы найдем и глубокие размышления чешского писателя о мире и людях. Одна из проблем, к которым Чапек постоянно возвращается в рассказах из «обоих карманов», — проблема критериев справедливости. Поиски истины так сложны, допустимо ли что-нибудь упрощать, решая человеческую судьбу? И блюстители порядка в его рассказах иногда сами принимают решение о мерах наказания, исходя из моральных критериев («Преступление на почте»). Конечно, Чапек далек от идеализации стражей закона, хотя все они весьма добродушны. Собственно говоря, он вообще не ставил перед собой цели изобразить реальную полицию в реальной буржуазной Чехословакии. В несколько условном мире его рассказов действуют просто люди, наделенные той мерой гуманности, без которой он не представлял себе возможности самого существования.

В некоторых своих рассказах писатель пытается найти что-то человеческое даже в убийцах. Если бы можно было все знать о преступнике, принимать во внимание все обстоятельства, по мысли автора, еще мучительнее было бы выносить обвинительный приговор. Не может желать наказания убийцы и рассказчик в «Обыкновенном убийстве». Кажется, больше всего на свете Чапек боится формального, бездушного подхода к человеку, поэтому ему представляется, что лучше простить виновного, чем осудить невинного. О том, что может означать попустительство преступнику, Чапек задумывается позднее, в тридцатые годы, в пору антифашистской борьбы.

Особое место в творчестве чешского писателя занимает «Рассказ об утерянной ноге», так как Чапек чрезвычайно редко обращался к событиям мировой войны. В этом рассказе неожиданно звучат мотивы, близкие к «Похождениям бравого солдата Швейка», и слышатся нотки характерного для Гашека «юмора висельника».

В рассказе «Человек, который не мог спать» мы встретим и юмористическое переосмысление модных теорий психоанализа, и совершенно серьезные размышления о таких психологических проблемах, которые позднее освещаются в романах Чапека.

В своих сборниках, особенно в «Рассказах из другого кармана», Чапек ставит перед собой также и чисто литературные задачи: «Я хотел испытать возможности разговорного языка для выражения всех оттенков мысли». Во втором сборнике фигурируют рассказчики, от имени которых ведется повествование. Мы ничего не узнаем об этих людях, кроме их имен и в некоторых случаях профессий. Неизвестно, с какой целью и каким образом они собрались в одном месте — обрамляющей новеллы Чапек

не дает. Да он и не нуждается в этом. Рассказчики, довольно свободно, по каким-то далеким ассоциациям откликающиеся на предшествующую новеллу, нужны Чапеку для того, чтобы придать повествованию разговорную непринужденность. Для этой же цели писатель, как он сам потом вспоминал, прочитывал каждую новеллу вслух прежде, чем дать ее в печать. И надо сказать, что этот эксперимент блестяще удался.

В публикуемых рассказах читателю приоткроются какие-то новые грани в творчестве замечательного чешского писателя. В них с блеском проявилось и свойственное писателю мастерство острого сюжета, и комические парадоксы, и неиссякаемый, добрый чапековский юмор.

И. БЕРНШТЕЙН

Преступление на почте

— **В**ы говорите «Справедливость», — сказал жандармский вахмистр Брейха. — Хотелось бы мне знать, почему ее изображают женщиной с повязкой на глазах и весами в руке, словно она торгует перцем. Я Справедливость представляю в образе жандарма. Вы не поверите, сколько дел мы, жандармы, решаем без судей, без весов и без всяких церемоний. Если случай простой, бьем по морде, а более сложный — снимаем ремень: в девяти случаях из ста это и есть истинная справедливость. Я здесь недавно избил двоих в убийстве, сам приговорил их к справедливому наказанию и сам их наказал, никому не обмолвившись об этом ни единым словом. Подождите-ка, сейчас расскажу вам все по порядку.

Так вот, вы, конечно, помните девушку, которая два года тому назад работала у нас на почте: ее еще Геленкой звали. Такая милая, славная девочка и красивая, как на картинке. Да как ее можно было не запомнить! Представьте себе, эта Геленка прошлым летом утопилась; прыгнула в озеро да еще шла почти пятьдесят метров, пока добралась до глубокого места. Только через два дня всплыла. И знаете, почему она утопилась? В тот день к ней из Праги неожиданно прибыла ревизия и обнаружила, что в кассе недостает двух сотен. Жалких двух сотен! Болван-ревизор ей сказал, что он обязан доложить об этом по начальству и рассматривать недостачу как растрату. В тот вечер, приятель, Геленка со стыда и утопилась.

Когда ее вытащили на плотину, мне пришлось около нее стоять до прихода комиссии. От ее красоты не осталось и следа. Но я все представлял себе, как она смеется, выглядывая из окошечка на почте: что греха таить, все мы туда из-за нее ходили, не так ли? Любили эту девочку. Будь я проклят, говорю я себе, Геленка этих денег не брала, прежде всего потому, что я в это не верю, и, во-вторых, незачем ей было красть: отец ее мельник, там, по ту сторону озера, а пошла она работать на почту только из женского честолюбия, мол, она сама себя кормит. Отца я хорошо знал: он был грамотей, да к тому же — евангелист, а я вам скажу, что евангелисты и сектанты никогда у нас не воруют. Если эти две сотни исчезли, то украл их кто-то другой. Ну вот, я этой мертвой девочке там на плотине пообещал, что этого так не оставлю.

После ее смерти прислали к нам на почту одного парня, из Праги; звали его Филипек; расторопный такой, острый на язык малый. Стал я к Филипеку на почту захаживать, чтобы кое-что выяснить. Знаете, у нас, как и на всех почтах, у окошечка — столик с выдвижным ящиком, а в нем — деньги и марки. У почтового служащего за спиной полки, где лежат всякие тарифные справочники, документы, стоят весы для взвешивания пакетов, посылок и прочего.

— Господин Филипек,— говорю я ему,— посмотрите, пожалуйста, в ваших справочниках, сколько будет стоить телеграмма, ну, скажем, до Буэнос-Айреса?

— Три кроны слово,— ответил Филипек как ни в чем не бывало.

— А сколько стоит срочная телеграмма в Гонконг? — опять спросил я.

— Это уже придется посмотреть,— сказал Филипек, встал и повернулся к полкам. А пока он перелистывал справочник, стоя ко мне спиной, я просунул в окошечко плечо, дотянулся рукой до ящика с деньгами и открыл его: открывался он легко и тихо.

— Ну спасибо, мне все уже ясно,— сказал я,— вот как это и могло случиться. В то время, пока Геленка искала что-нибудь в справочнике, кто-то мог стащить две сотни из ящика. Послушайте, Филипек, не могли бы вы мне показать, кто в последнее время посылал отсюда какие-нибудь телеграммы или посылки.

Филипек почесал затылок и ответил:

— Господин вахмистр, этого делать я не имею права, ведь как-никак существует тайна переписки; вы, правда, могли бы осмотреть все «именем закона»; но тогда я обязан сообщить начальству, что была произведена проверка.

— Подождите,— прервал я его,— я бы не хотел этого делать. Вот если бы вы, Филипек, скуки ради или так... посмотрели бы по документам, кто в последнее время отправлял отсюда что-нибудь такое, из-за чего Геленка должна была повернуться спиной к столу.

— Господин вахмистр,— говорит Филипек,— сказать откровенно — телеграммы есть; но, отправляя заказные письма и пакеты, мы записываем только фамилии адресата, а не отправителя. Я перепису все фамилии, которые здесь найдутся; это не полагается, но для вас я такой списочек составлю. Только, мне кажется, вам это ничего не даст.

Он, конечно, был прав, этот Филипек: принес мне что-то около тридцати фамилий — с сельской почты ведь много телеграмм не отправляют, да еще там была какая-то посылка пареньку, отбывающему военную службу, но все это мне действительно ровным счетом ничего не дало. Знаете, куда бы я ни шел, везде только об этом и думал; мучила меня совесть, что я свое обещание этой мертвой девочке не выполняю.

И вот однажды, неделю примерно спустя, иду я опять на почту. Филипек мне улыбается и говорит:

— Господин вахмистр, разгадывайте свои кроссворды сами, я укладываюсь. Завтра сюда приезжает девушка с Пардубицкой почты.

— Вот как,— спрашиваю,— в наказание, что ли, переводят ее из города на сельскую почту?

— Да нет, господин вахмистр,— отвечает Филипек и глядит на меня как-то странно,— эта девушка переводится сюда по собственному желанию.

— Удивительно,— говорю я.— Ох уж эти мне женщины!

— Да,— соглашается Филипек и все на меня смотрит,— а самое удивительное в том, что анонимное письмо насчет экстренной ревизии тоже было послано из Пардубиц.

Я аж присвистнул и думаю, что посмотрел на Филипика так же странно, как и он на меня. А тут в разговор вмешался почтальон Угер, он как раз раскладывал корреспонденцию:

— А, Пардубицы, да этот управляющий из поместья туда чуть ли не каждый день пишет какой-то девице на почте. Наверное, это его любовь, не так ли?

— Послушайте, папаша,— обращается к нему Филипек,— не знаете ли вы, как зовут эту девицу?

— Вроде Юлия Тоуф — Тоуфар...

— Тауферова,— говорит Филипек,— так это же она, та самая, что должна сюда приехать.

— Он, этот Гоудек, то есть управляющий,— продолжает почтальон,— тоже каждый день получает письма из Пардубиц. «Господин управляющий,— говорю я ему,— вам опять письмецо от невесты». Он, этот управляющий, всегда встречается меня где-нибудь на середине пути. А сегодня ему и посылочка, но уже из Праги... Вот посмотрите — ее ведь вернули с отметкой «Адресат неизвестен». Видно, господин Гоудек перепутал адрес. Так я отнесу ее обратно.

— Покажите,— заинтересовался Филипек.— Адресовано какому-то Новаку. Прага, Спалена улица. Два кило масла. Штамп от четырнадцатого июля.

— Тогда здесь еще работала Геленка,— заметил почтальон.

— Покажи-ка,— говорю я Филипеку и нюхаю ящичек.— Филипек, а не кажется ли вам странным, что масло пробыло в пути десять дней и не протухло? Папаша,— говорю я,— оставьте-ка посылку здесь и топайте, разносите почту.

Не успел почтальон уйти, как Филипек мне говорит:

— Господин вахмистр, это делать, правда, не полагается, но... долото вот здесь,— и ушел, мол, он ничего не видит. Так вот, я этот ящичек вскрыл: в нем было два кило глины. Тут пошел я к Филипеку и говорю:

— Ты, парень, об этом никому ни слова, понял? Я все беру на себя.

Само собой разумеется, собрался я и пошел к этому управляющему Гоудеку в поместье. Он сидел там на бревнах, уставившись в землю.

— Господин управляющий,— говорю я ему,— тут на почте произошла какая-то путаница: не вспомните ли вы, по какому адресу дней десять-двенадцать назад вы отправляли посылку?

Гоудек, как мне показалось, немного побледнел и говорит:

— Это не имеет значения, я уже и сам не помню кому.

— Господин управляющий,— спрашиваю я его снова,— а какое это было масло?

Тут Гоудек вскочил, теперь уже побелев как мел, и закричал:

— Что это значит? Почему вы ко мне пристааете?

— Господин управляющий,— говорю я.— Вот что: вы убили Геленку. Вы принесли на почту посылку с вымышленным адресом, и Геленка должна была взвесить ее на весах. Пока она взвешивала, вы наклонились через перегородку и украли из ящика стола двести крон. Из-за этих несчастных двух сотен Геленка утопилась. Вот оно как!

Господи, этот Гоудек задрожал как осиновый лист.

— Это ложь,— закричал он,— зачем мне было красть эти деньги?

— Затем, что вы хотели, чтобы вашу невесту Юлию Тауферову перевели на здешнюю почту. Это ваша барышня сообщила в анонимном письме, что у Геленки недостача в кассе. Вы двое загнали Геленку в озеро. Вы двое ее убили. У вас на совести преступление, Гоудек.

Гоудек упал на бревна и закрыл лицо руками; за всю свою жизнь я не видел, чтобы мужчина так плакал.

— Господи,— сетовал он,— и откуда я мог знать, что она утопится! Я только думал, что ее уволят... ведь она же могла уйти домой. Господин вахмистр, я хотел жениться на Юльче, но тогда один из нас должен был потерять работу... и нам не хватило бы на жизнь.

Поэтому я так хотел, чтобы Юльча перешла на здешнюю почту. Пять лет мы ждали этого... Господин вахмистр, мы очень любим друг друга!

Дальше о нем я вам рассказывать не буду; была уже ночь, этот парень стоял передо мной на коленях, а я ревмя ревел, как старая шлюха: из-за Геленки и всего остального.

— Ну довольно,— сказал я ему наконец.— Я сыт по горло. Давайте-ка сюда эти двести крон. Так. А теперь слушайте: если вы вздумаете жениться на Тауферовой Юльче раньше, чем я приведу все в порядок, я отправлю донесение о том, что деньги украли вы, поняли? А если вы вздумаете застрелиться или сотворить что-нибудь подобное, то я расскажу всем, почему вы это сделали. И кончено.

О господи! Всю ту ночь я просидел под звездами и судил эту пару; я спрашивал бога, как их следует наказать, и понял всю ту горечь и радость, которая есть в справедливости. Если бы я на них донес, Гоудек получил бы несколько недель условного заключения и еще трудно было бы доказать его виновность. Гоудек убил эту девушку, но это был не простой убийца. Любое наказание, которое ему могли бы дать, казалось мне и слишком большим, и слишком незначительным. Поэтому я судил их и наказывал сам.

После этой ночи рано утром я пришел на почту. Там у окошечка сидела бледная высокая девушка с колючими глазами.

— Барышня Тауферова,— обратился я к ней,— мне надо отправить заказное письмо.— Подал я ей письмо с адресом: «Управление почт и телеграфа в Праге». Посмотрела она на меня и приклеила на конверт марку.

— Подождите, девушка,— остановил я ее,— в этом письме донос на того, кто украл двести крон у вашей предшественницы. Сколько будет стоить porto¹ ?

Знаете, эта женщина умела держать себя в руках и все же при этом известии лицо у нее сделалось серым от волнения. Она словно окаменела.

— Три с половиной кроны,— вздохнув, сказала она.

Отсчитал я три с половиной кроны и говорю:

— Вот, пожалуйста, но если бы эти две сотни,— говорю я и кладу на стол украденные банкноты,— если бы эти две сотни нашлись — ведь они могли завалиться куда-нибудь, понимаете, или где-то были заложены — и будет видно, что покойная Геленка деньги не воровала, тогда я возьму свое письмо обратно.

Она не сказала ни слова, только, оцепенев, уставилась куда-то своими колючими глазами.

— Через пять минут здесь будет почтальон, барышня, так как же, забирать мне письмо?

Она быстро кивнула. Я забрал письмо и принялся расхаживать перед почтой. Господи, такого напряжения я никогда еще не испытывал. Через двадцать минут на улицу выбежал старый почтальон Угер с криком.

— Господин вахмистр, господин вахмистр, представьте себе, нашлись те две сотни, что недоставали Геленке! Эта новая девушка их обнаружила в каком-то справочнике. Вот это находка!

— Папаша,— сказал я ему,— бегите и рассказывайте повсюду, что эти две сотни нашлись. Понимаете, чтобы все знали, что покойная Геленка, слава богу, ничего не украдала.

¹ Доставка (итал.).

Это было первое, что я сделал. Потом я отправился к старому помещику. Вы его, должно быть, не знаете: этот граф малость с придурью, но человек он хороший.

— Ваше сиятельство,— говорю я ему,— не спрашивайте меня ни о чем, но я пришел к вам по делу, в котором мы, люди, должны быть заодно. Позовите вашего управляющего Гоудека и прикажите ему, чтобы он еще сегодня уехал в ваше имение на Мораве; а если он не захочет, то вы его, мол, немедленно уволите.

Старый граф поднял брови и некоторое время смотрел на меня: мне не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы выглядеть очень серьезным.

— Хорошо,— сказал граф,— я вас не буду ни о чем спрашивать,— и приказал позвать Гоудека.

Гоудек пришел и, увидев меня у графа, побледнел и остановился как вкопанный.

— Гоудек,— сказал граф,— велите запрягать. Вы поедете на станцию: сегодня вечером приступите к работе в моем имении в Гулине. Я дам телеграмму, чтобы вас там встретили. Понятно?

— Да,— тихо сказал Гоудек и впился в меня глазами; такие глаза, наверное, бывают у грешника в аду.

— Вы имеете что-нибудь против? — спросил граф.

— Нет,— хрипло ответил Гоудек, не спуская с меня глаз. От этого взгляда мне стало не по себе.

— Можете идти,— сказал граф, и все было кончено.

Минуту спустя я увидел, как увозят Гоудека: он сидел в коляске как истукан.

Вот и все. Если вы пойдете на почту, обратите внимание на эту бледную девицу. Она зла, зла на весь мир, и на лице у нее уже появляются злые старческие морщинки. Не знаю, встречается ли она со своим Гоудеком. Наверное, иногда ездит к нему, но возвращается оттуда еще более злой и раздраженной. А я смотрю на нее и твержу про себя: справедливость быть должна.

Я только жандарм, но вот в чем мой опыт убедил меня: есть ли на свете всеведущий и всемогущий бог, этого я не знаю, да если бы он и был — для нас это ничего бы не изменило. Но я вам вот что скажу: некая высшая справедливость быть должна. Непременно! Мы можем только наказывать, но должен быть еще «кто-то», кто бы прощал. Знаете, настоящая, высшая справедливость так же необъяснима и удивительна, как и сама любовь.

Человек, который никому не нравился

— Господин Колда,— сказал Пацовский вахмистру Колде,— у меня тут кое-что есть для вас.

Пацовский во времена австро-венгерской монархии тоже был полицейским и даже служил в конной полиции, но после войны никак не мог приспособиться к новым порядкам и ушел на пенсию. Побродив малость по свету, он наконец арендовал деревенскую гостиницу под названием «На вышке». Гостиница была, конечно, где-то на отшибе, но теперь это как раз начинает нравиться людям: всякие там загородные прогулки, сельский пейзаж, купание в озерах и разные такие вещи.

— Господин Колда,— сказал Пацовский,— я тут чего-то не возьму в толк. Остановился у меня один гость, некий Ройдль, живет уже две недели и ничего ты о нем не скажешь: платит исправно, не

пьянствует, в карты не играет, но... Знаете что,— вырвалось у Пацовского,— зайдите как-нибудь взглянуть на него.

— А в чем же дело? — спросил Колда.

— В том-то и загвоздка,— продолжал Пацовский огорченно,— что я и сам не знаю. Ничего, кажется, особенного в нем нет, но как бы это вам сказать? Этот человек мне не нравится, и basta.

— Ройдль, Ройдль,— вслух размышлял вахмистр Колда.— Это имя мне ничего не говорит. Кто он?

— Не знаю,— сказал Пацовский.— Говорит, банковский служащий, но я не могу из него вытянуть название банка. Не нравится мне это. С виду такой учтивый, а... И почта ему не приходит. Мне кажется, он избегает людей. И это мне тоже не нравится.

— Как это — избегает людей? — заинтересовался Колда.

— Он не то чтобы избегает,— как-то неуверенно продолжал Пацовский,— но... скажите, пожалуйста, кому охота в сентябре сидеть в деревне? А если перед гостиницей остановится машина, он вскочит даже во время еды и спрячется в свою комнату. Вот оно как! Говорю вам, не нравится мне этот человек.

Вахмистр Колда на минутку задумался.

— Знаете, господин Пацовский,— решил он мудро.— Скажите-ка ему, что на осень вы свою гостиницу закрываете. Пусть едет в Прагу или куда-нибудь еще. Зачем именно нам держать его здесь? И дело с концом.

На следующий день, в воскресенье, молодой жандарм Гурих, по прозвищу Маринка, или Паненка, возвращался с обхода; по дороге решил он заглянуть в гостиницу. И прямо из леса черным ходом направился во двор. Подойдя к двери, Паненка остановился, чтобы прочистить трубку, и тут услышал, как во втором этаже растворилось со звоном окно и из него с шумом что-то вывалилось. Паненка выбежал во двор и схватил за плечо человека, который ни с того ни с сего вздумал прыгать из окна.

— Что это вы делаете? — укоризненно спросил жандарм.

У человека, которого он держал за плечо, было невыразительное, бледное лицо.

— Разве нельзя прыгать? — спросил он робко.— Я ведь здесь живу.

Жандарм Паненка недолго обдумывал ситуацию.

— Может быть, вы тут и живете,— сказал он,— но мне не нравится, что вы прыгаете из окна.

— Я не знал, что это запрещено,— оправдывался человек с невыразительным лицом.— Спросите господина Пацовского, он подтвердит, что я здесь живу. Я Ройдль.

— Может быть,— произнес жандарм.— Тогда предъявите мне ваши документы.

— Документы? — неуверенно спросил Ройдль.— У меня нет с собой никаких документов. Я попрошу их прислать.

— Мы уж сами их запросим,— сказал Паненка не без удовольствия.— Пройдемте со мной, господин Ройдль.

— Куда? — воспротивился Ройдль, и лицо его стало просто серым.— По какому праву... На каком основании вы хотите меня арестовать?

— Потому что вы мне не нравитесь, господин Ройдль,— заявил Паненка.— Хватит болтать, пошли.

В жандармском участке сидел вахмистр Колда в теплых ночных туфлях, курил длинную трубку и читал ведомственную газету. Увидев Паненку с Ройдлем, он разразился страшным криком:

— Мать честная, Маринка, что же вы делаете? Даже в воскресенье покоя не даете! Почему именно в воскресенье вы тащите ко мне людей?

— Господин вахмистр,— отрапортовал Паненка,— этот человек мне не понравился. Когда он увидел, что я подхожу к гостинице, он выпрыгнул во двор из окна и хотел удрать в лес. Документов у него тоже нет. Я его и забрал. Это какой-то Ройдль.

— Ага,— сказал Колда с интересом,— господин Ройдль. Так вы уже попались, господин Ройдль.

— Вы не можете меня арестовать,— беспокойно пробормотал Ройдль.

— Не можем,— согласился вахмистр,— но мы можем вас задержать, не правда ли? Маринка, сбегайте в гостиницу, осмотрите комнату задержанного и принесите сюда его вещи. Садитесь, господин Ройдль.

— Я... я отказываюсь давать какие-нибудь показания...— заикаясь, произнес расстроенный Ройдль.— Я буду жаловаться. Я протестую.

— Мать честная, господин Ройдль,— вздохнул Колда.— Вы мне не нравитесь. И возиться с вами я не стану. Садитесь вон там и помалкивайте.

Колда снова взял газету и продолжал читать.

— Послушайте, господин Ройдль,— сказал вахмистр немного погодя.— Что-то у вас не в порядке. Это прямо по глазам видно. На вашем месте я бы рассказал все и обрел, наконец, покой. А не хотите — не надо. Дело ваше.

Ройдль сидел бледный и обливался потом. Колда посмотрел на него, скорчил презрительную гримасу и пошел поворошить грибы, которые у него сушились над печкой.

— Послушайте, господин Ройдль,— начал опять Колда после некоторого молчания.— Пока мы будем устанавливать вашу личность, вы будете сидеть в здании суда и никто там не станет с вами разговаривать. Не сопротивляйтесь, дружище!

Ройдль продолжал молчать, а Колда что-то разочарованно ворчал и чистил трубку.

— Ну, хорошо,— сказал он.— Вот, посмотрите: пока мы вас опознаем, может, и месяц пройдет, но этот месяц, Ройдль, вам не приписывают к сроку наказания. А ведь жаль зря просидеть целый месяц.

— А если я признаюсь,— нерешительно спросил Ройдль,— тогда...

— Тогда сразу же начнется предварительное заключение, понимаете? — объяснил Колда.— И этот срок вам зачтут. Ну, поступайте как хотите. Вы мне не нравитесь, и я буду рад, когда вас увезут отсюда в округ. Так-то, господин Ройдль.

Ройдль вздохнул, в его бегающих глазах появилось горестное и усталое выражение.

— Почему? — вырвалось у него.— Почему каждый встречный мне говорит, что я ему не нравлюсь?

— Потому что вы чего-то боитесь,— наставительно сказал Колда,— вы что-то скрываете, а это никому не нравится. Почему вы, Ройдль, никому не смотрите в глаза? Ведь вам нигде нет покоя. Вот в чем дело, господин Ройдль!

— Роснер,— поправил бледный человек удрученно.

Колда задумался.

— Роснер, Роснер, подождите. Какой это Роснер? Это имя мне почему-то знакомо.

— Так ведь я Фердинанд Роснер! — выкрикнул человек.

— Фердинанд Роснер,— повторил Колда.— Это уж мне кое-что говорит. Роснер Фердинанд...

— Депозитный банк в Вене,— подсказал вахмистру бледный человек.

— Ага,— радостно воскликнул Колда.— Растрата! Вспомнил! Дружище, ведь у нас уже три года лежит ордер на ваш арест. Так, значит, вы Роснер,— повторил он с удовольствием.— Что же вы сразу не сказали? Я вас чуть не выставил, а вы Роснер! Маринка! — обратился Колда к входящему жандарму Гуриху,— ведь это Роснер, растратчик.

— Вот именно,— сказал Роснер и как-то болезненно вздрогнул.

— Вы к этому привыкнете, Роснер,— успокоил его Колда.— Будьте довольны, что все уже выяснилось. Скажите, бога ради, милый человек, где же вы все эти годы прятались?

— Прятался,— горько сознался Роснер,— или в спальнях вагонов, или в самых дорогих отелях. Там человека никто не спросит, кто он и откуда прибыл.

— Да, да,— сочувственно поддакнул Колда.— Я понимаю, это действительно были огромные расходы!

— Еще бы,— с облегчением произнес Роснер,— разве я мог заглянуть в какой-нибудь плохенький отель, где, того и гляди, нарвешься на полицейскую облаву? Господи! Да ведь все это время я вынужден был жить не по средствам! Дольше трех ночей нигде не оставался. Вот только здесь... а тут-то вы меня и сцапали.

— Да, жаль, конечно,— утешал его Колда.— Но ведь у вас все равно кончились деньги, не правда ли, Роснер?

— Да,— согласился Роснер.— Но сказать по правде, больше я все равно бы не выдержал. За эти три года я ни с кем по душам не говорил. Вот только сейчас. Не мог даже поесть как следует. Едва взглянет кто, я уже стараюсь исчезнуть. Все смотрели на меня как-то подозрительно,— пожаловался Роснер.— И кто бы это ни был, мне казалось, что он из полиции. Представьте себе, и господин Пацовский тоже.

— Не обращайтесь на это внимания,— сказал Колда.— Пацовский тоже бывший полицейский.

— Вот видите! — проворчал Роснер.— Наш брат все время должен быть начеку. Но почему все смотрели на меня так подозрительно? Разве я похож на преступника?

Колда испытующе поглядел на него.

— Я вам вот что скажу, Роснер,— произнес он.— Теперь уже нет. Теперь вы уже выглядите совсем как обычный человек. Но раньше вы мне, приятель, не нравились. Я даже не знаю, что всех против вас так восстанавливало... Но,— решительно добавил Колда,— Маринка сейчас отведет вас в суд. Еще нет шести часов, и сегодняшней день вам зачтут. Не будь сегодня воскресенье, я бы сам вас туда отвел. Чтобы вы знали, что... что против вас мы уже ничего не имеем. Все это было из-за вашей необщительности, Роснер. А теперь все в порядке. Маринка, арестуйте его!



— Знаете, Маринка,— заявил вечером Колда,— мне этот Роснер понравился. Очень милый человек, не правда ли? Я думаю, больше года ему не дадут.

— Я попросил,— сказал жандарм Паненка, краснея,— чтобы ему принесли два одеяла. Он ведь не привык спать на тюремной койке.

«Это хорошо,— подумал Колда.— А я скажу надзирателю, чтобы он поболтал с ним немного. Пусть этот Роснер почувствует, что он опять среди людей».

Перевод с чешского Т. АКСЕЛЬ

Рассказ об утерянной ноге

— Иной раз не поверишь,— заметил пан Тимих,— сколько может вынести человек. Дайте-ка вспомнить, ну да, это было в войну, когда я служил в Тридцать пятом; был у нас там один солдатик, как же его звали? Вроде Дында, или Отагал, или Петерка, но мы его называли Пепеком; в общем-то славный малый, только нежный больно, хоть плачь. Ну, пока нас гоняли по плацу, он делал что мог, хоть и мучился, как собака; но вот нас привезли на фронт, это под Краковом было, да выбрали нам такое проклятое место, по которому так прямо и жарила русская артиллерия. Поначалу Пепек ничего, только глазами хлопает, но раз подошел он к лошади с разорванным брюхом — лошадь еще храпела и пыталась встать,— тут наш Пепек побледнел, швырнул фуражку на землю, допустил оскорбление его величества, положил винтовку и ранец, да и двинул в тыл.

Как он добрался до дому за пятьсот или сколько там километров, ей-богу, не могу себе представить; только однажды ночью постучал он в свой дом и говорит жене:

— Мать, это я, и я уже туда не вернусь; но если они меня найдут, то мне крышка; дезертир я.

Поплакали они вместе, потом жена и говорит:

— Пепек, я от тебя не отступлюсь, спрячу тебя в навозной куче, там уж никто искать не будет.— И вот завалила она его навозом, прикрыла досками, и просидел там Пепек пять месяцев; господа, такого не вынес бы ни один мученик за веру. Потом его выдала соседка в отместку за какую-то курицу; явились полицейские выгребать Пепека из навоза; так, знаете, пришлось им докупать десять метров веревки, чтобы не слышать вони, пока они его, связанного, вели в город.

Когда, значит, вонь немного выветрилась, вызвали Пепека на полевой суд. Следователем тогда был некто Диллингер; одни говорили, что он — собака, другие — парень что надо; но как он умел ругаться! Послушайте, это уж надо признать, во времена Австро-Венгрии ругаться умели. Чувствовалась старая традиция. Нынче не умеют обругать как следует; зато оскорбить—сколько угодно. Так вот, этот Диллингер приказал привести Пепека во двор и судил его через окно, ближе не желал подпускать. Сами понимаете, дело Пепека было дрянь, за дезертирство в военное время полагается расстрел, и тут тебе сам господь бог не поможет. К тому же Диллингер ни с кем долго не хороводился, все-таки он был собака. Ну-с, дошло дело до вынесения приговора, тут Диллингер возьми да и крикни из окна:

— А что, Пепек, когда ты там в дерьме сидел, неужели не хаживал к своей старухе погреться?

Пепек смущенно потоптался и, густо покраснев, выдавил из себя:

— Осмелюсь доложить, пан следователь, хаживал; как же без этого!

Следователь закрыл окно и вздохнул: «О господи!» Потом он долго качал головой и бегал из угла в угол, пока не успокоился, и тогда сказал:

— Пусть меня переведут на пенсию, но я этого парня на смерть не пошлю, хотя бы уж ради его жены; тьфу, вот это называется супружеская любовь!

И он как-то свел дело к трем годам каторги.

В крепости Пепеку поручили ухаживать за садом некоего полковника Бабки. И этот Бабка говорил потом, что отродясь не было у него таких прекрасных крупных овощей, как в то время, когда их разводил Пепек. Черт знает, говорил этот начальник, с чего это у него все так росло.



— Во время войны,— сказал пан Крал,— случилось множество необыкновенных историй; и если собрать все, что люди делали, только бы не воевать за Австрию, это составило бы больше фолиантов, чем Acta Sanctorum¹, которые издают святые отцы-болландисты². У меня есть племянник Лойзик, в Радлицах у него хлебопекарня; когда его призвали в армию, он сказал мне: «Дядя, я вам говорю, на фронт им меня не выпереть, скорее я ногу себе отрублю, чем стану помогать немецким собакам».

Лойзик был ловкий парень; пока новобранцы упражнялись в ружейных приемах, он был готов разорваться от усердия, так что начальники видели в нем будущего героя или даже капрала; но когда он разнюхал, что через несколько дней их повезут на фронт, то нагнал себе температуру, стал хвататься за правую сторону живота и жалобно стонать. Его отвезли в госпиталь и вырезали слепую кишку; а там уж Лойзик устроил так, чтобы его рана заживала помедленнее. Но все-таки месяца через полтора она кое-как затянулась, несмотря на все его старания, а война еще не кончилась. Тогда-то я и навестил его в госпитале.

— Дядя,— говорит Лойзик,— теперь мне не поможет даже сам фельдфебель; каждую минуту жду, что меня отсюда погонят.

В то время главным врачом штаба был пресловутый Обергубер. Позднее выяснилось, что этот тип был, собственно, сумасшедший, но вы знаете, армия есть армия, нацепите золотые погоны на дикую свинью, и она будет командиром. Разумеется, все дрожали перед этим Обергубером; а он знай носился по госпиталям и орал: «Марш на фронт!» — несмотря на то, была ли у тебя открытая форма туберкулеза или ранение позвоночника, и никто не решался ему перечить. Обергубер даже не смотрел, что написано над койкой, так это глянет издали да гаркнет: «Frontdiensttauglich!»³ И тогда уж никакие святые тебе не помогут.

И вот этот Обергубер явился инспектировать госпиталь, где Лойзик ожидал своей судьбы. Едва только внизу, в воротах еще, раздался крик,— всех, кроме мертвецов, подняли и поставили по стойке «смирно!» у коек, чтобы встретить высокое лицо как подобает. Ожидание, однако, затянулось, и Лойзик, для облегчения став на одну ногу, коленом другой уперся в койку. В этот момент влетел Обергубер, лиловый от ярости, и еще в дверях заорал:

— Марш на войну! Этого на войну! Tauglich!⁴

Тут он увидел Лойзика, стоящего на одной ноге, и побагровел еще пуще.

¹ Жития святых (лат.).

² Члены иезуитского ордена, названного по имени иезуита Жана Болланда (1596—1665).

³ Годен к фронтовой службе! (Нем.)

⁴ Годен (нем.).

— Einbeinig! ¹ Отправить домой! Какого черта держите вы этого одноногого? Или тут приют для калек? Убрать его! Негодяи, всех вас за это на фронт!

Подчиненные, побелев от ужаса, залепетали, что все будет немедленно сделано, а Обергубер уже кричал у другой постели, что оперированный вчера солдат должен sofort ² на фронт.

Итак, Лойзик в тот же час, с документами, подписанными самим Обергубером, был отпущен домой как одноногий инвалид. Этот Лойзик был шибко умный парень; он немедленно подал заявление, чтобы его как пожизненного калеку вычеркнули из списка военнообязанных и чтобы ему назначили пенсию по инвалидности, потому что, как пекарю, ему нужны обе ноги,— пусть, как говорится, даже кривые, поскольку об одной официально признанной ноге он не может работать по специальности. После надлежащих проволочек он получил извещение, что признан инвалидом на 45%, вследствие чего имеет право получать ежемесячно столько-то крон пенсии. Ладно, но теперь-то, собственно, и начинается история о потерянной ноге.

Итак, Лойзик получал пенсию, помогал отцу в пекарне и даже женился; лишь иногда он замечал, что как бы слегка прихрамывает или припадает на ту самую ногу, которой не признал Обергубер, но это его даже радовало, потому как похоже было, будто у него протез. Потом война закончилась и была объявлена республика, а Лойзик по соображениям некоей добропорядочности продолжал получать пенсию.

Однажды он пришел ко мне, и видно было, что он чем-то озабочен.

— Дядя,— выговорил он не сразу,— сдается мне, что нога-то моя вроде как бы укорачивается и усыхает.— Он засучил штанину и показал свою ногу; она стала тонкая, как палка.— Боюсь, дядя,— говорит Лойзик,— что все-таки потеряю я эту ногу.

— А ты сходи к врачу, шляпа! — посоветовал я.

— Дядя,— вздохнул Лойзик,— думается мне, не болезнь это; может, все это оттого, что нога-то мне не полагается. Ведь черным по белому написано, что правая нога у меня отнята по колено,— как вы думаете, не оттого ли она так сохнет?

Спустя некоторое время он снова пришел ко мне, причем уже опирался на палку.

— Дядя,— в страхе говорит он,— я калека; я уж и встать на эту ногу не могу. Врач говорит, что это атрофия мышц и скорее всего от нервов. Посылает меня на воды, а мне кажется, он и сам в них не верит. Потрогайте, дядя, нога-то холодная, словно мертвая. Врач говорит, от плохого кровообращения,— как вы думаете, а вдруг она у меня сгниет?

— Послушай, Лойза, я дам тебе один совет: заяви про свою ногу официально, пусть вычеркнут, что ты одноногий. Может, тогда твоя нога выправится?

— Но, дядя,— возразил Лойзик,— тогда скажут, что я незаконно получал пенсию и облапошил казну на безбожную сумму. Ведь меня заставят вернуть все!

— Что ж, держись за свои деньги, скряга несчастный,— говорю я ему,— а с ногой распростишься, только потом не ходи ко мне плакаться.

Через неделю он явился снова.

— Дядя! — еще с порога заныл он,— эти чинуши не хотят при-

¹ Одноногий (нем.).

² Тотчас (нем.).

знавать мою ногу! Говорят, все равно она сухая и ни к чему не годная, что мне с ними делать?

Вы не поверите, сколько пришлось ему побегать, пока официально не признали, что у него есть обе ноги! Разумеется, потом Лойзика еще таскали за обман государства, собирались даже обвинить в уклонении от воинской повинности, и намотался же бедняга по канцеляриям! Зато нога у него начала крепнуть. И крепла, быть может, она как раз от этой самой беготни; только я лично думаю, это произошло скорее оттого, что ее признали официально; все-таки великая сила официальная бумажка! Или, пожалуй, нога усыхала у него потому, что владел он ею, собственно, незаконно; дело-то было нечисто, а это всегда за себя мстит. Скажу вам, друзья, чистая совесть — вот лучшая гигиена, и если бы люди жили по справедливости, то, может, и не умирали бы...

Обыкновенное убийство

— Я часто думал, — заметил на это пан Ганак, — почему несправедливость кажется нам хуже любого зла, которое можно причинить людям. Ну, например, если бы мы узнали, что одного невинного человека посадили в тюрьму, это тревожило бы и мучило нас больше, чем то, что тысячи людей живут в нужде и страданиях. Я видел такую нищету, что всякая тюрьма по сравнению с ней просто роскошь; и все же самая страшная нищета не так ранит нас, как несправедливость. Я бы сказал, есть в нас некий юридический инстинкт; виновность и невинность, право и справедливость — столь же первичные, страшные и глубокие чувства, как любовь и голод.

Возьмите хотя бы такую историю. Четыре года я, как мало кто из вас, пробыл на войне; не станем говорить, что мы там видели, но вы согласитесь, что наш брат там ко многому привык: например, к трупам. Я видел сотни и сотни мертвых молодых людей, порой страшно обезображенных, можете мне поверить; и, признаюсь, это зрелище мне стало уже столь безразличным, как если бы это было старое тряпье, лишь бы они не воняли. Я только говорил себе: если только ты выберешься из этой мясорубки цел и невредим, то уж ничто в жизни не сможет тебя потрясти.

Приблизительно через полгода после войны я был как-то дома в Слатине; однажды утром кто-то стучит в мое окно:

— Пан Ганак, идите посмотрите, убили пани Туркову!

У пани Турковой была маленькая лавчонка, где продавались писчебумажные товары и нитки; никто никогда ее не замечал, разве только кто зайдет когда-нибудь купить катушку ниток или рождественскую открытку. Из лавочки стеклянная дверь вела в кухоньку, где пани Туркова и спала; на двери висела занавеска, и, когда звякал колокольчик, пани Туркова выглядывала из-за этой занавески, чтобы посмотреть, кто это пришел, вытирала руки фартуком и входила в лавочку. «Что вам угодно?» — спрашивала она недоверчиво; и у посетителя возникало ощущение, что он непрошенный гость, и всякий старался поскорее убраться. Похоже на то, будто бы вы приподняли камень и увидели, как мечется в сырой впадине одинокий перепуганный жук; и вы поскорее опустите камень на место, лишь бы противный жук успокоился.

Услышав эту новость, я побежал посмотреть, скорее всего, из обычного любопытства. Перед лавчонкой пани Турковой народу собралось что пчел у летка; но полицейский впустил меня внутрь — из уважения к образованному человеку. В тишине звякнул колоколь-

чик — как всегда, — но сейчас от этого звонкого, четкого звука мороз подрал по коже; очень уж не соответствовал он обстановке. На пороге кухни лицом вниз лежала пани Туркова; у головы ее застыла почти черная лужа крови, серые волосы от почерневшей крови слиплись. В этот момент я вдруг ощутил то, чего не знал на войне: ужас того, что человек мертв.

Странно, о войне я уже почти забыл; и человечество о ней по-немногу забывает, вероятно, поэтому когда-нибудь должна будет разразиться новая война. Но эту убитую старуху, эту никому не нужную мелкую лавочницу, которая не умела толком продать даже открытку, я не забуду никогда. Убитый — не то, что умерший; в нем какая-то страшная тайна. Я, представьте себе, не мог понять, зачем убили именно пани Туркову, такую обыкновенную, неинтересную личность, на которую никто никогда не обращал внимания; и как же получилось, что поза, в которой она лежит, исполнена такого пафоса, и склоняется над ней полицейский, и снаружи толпится множество народу, только бы увидеть хоть часть тела пани Турковой. Бедняжка, я бы сказал, никогда не пользовалась таким вниманием, как теперь, когда она лежала лицом в черной крови. Она словно приобрела внезапно странную и страшную значительность. Никогда я не замечал, как она одета и как, собственно, выглядит; но теперь я как будто смотрел на нее через стекло, увеличивающее все безмерно и чудовищно. На одной ноге у нее была домашняя туфля; второй туфли не было, и на пятке чулка виднелась штопка — я видел каждый стежок, и это было страшно, словно и этот жалкий чулок был убит. Пальцы одной руки ее вцепились в пол — и рука эта была сухая и бессильная, как птичья лапка; но самым страшным был седой пучок на затылке убитой, потому что волосы были тщательно заплетены и поблескивали среди дорожек от спекшейся крови, как старое олово. У меня было ощущение, что я никогда не видел ничего жалостнее этой окровавленной женской косички. Одна струйка крови засохла за ухом, над ней светилась серебряная сережка с голубым камешком. Это было невыносимо, у меня тряслись ноги.

— Господи! — произнес я.

Полицейский, который искал что-то на полу кухни, выпрямился и посмотрел на меня; он был бледен, как перед обмороком.

— Послушайте, — выдавил я из себя, — вы были на войне?

— Был, — хрипло ответил полицейский. — Но это совсем не то. Взгляните-ка, — вдруг добавил он, показывая занавеску с двери; она была снята и испачкана; очевидно, убийца вытер ею руки.

— Иисусе Христе! — вырвалось у меня; не знаю, что здесь было так ужасно — представление о руках, липких от крови, или то, что эта занавесочка, чистенькая занавесочка сделалась жертвой преступления. Не знаю, но в эту минуту в кухоньке долгой трелью залилась канарейка. Послушайте, этого я уже не мог выдержать, — я в ужасе выбежал вон, и, наверное, был я бледнее полицейского.

Потом я долго сидел у нас во дворе на оглобле телеги, пытаюсь собраться с мыслями. Дуралей, говорил я себе, ведь это обыкновенное убийство! Ты что, не видел крови? Или не был ты заляпан собственной кровью, как свинья грязью? Не ты ли кричал своим солдатам, чтобы они быстрее копали могилу для ста тридцати убитых? Сто тридцать трупов в ряд занимают немало места, даже если сложить их тесно, как сельдей в бочке... И ты расхаживал вдоль этого ряда, курил сигареты и орал на команду: давай, давай, кончай поскорее! Разве не видел ты столько мертвых, столько мертвых...

То-то и оно, ответил я себе, я видел множество трупов, но не видел одного-единственного Мертвого; не опускался перед ним на

колени, чтобы заглянуть ему в лицо и коснуться его волос. Мертвый страшно тих; с ним надо быть наедине... и даже не дышать... чтобы понять его. И каждый из этих ста тридцати собрал бы все силы, чтобы сказать тебе: господин лейтенант, они убили меня; посмотрите на мои руки, ведь это руки человека! Но все мы отворачивались от этих мертвых; если уж пришлось нам воевать — нельзя было слушать убитых. Господи, надо бы, чтобы вокруг каждого погибшего толпились люди, как пчелы у летка, — мужчины, женщины, дети — в надежде увидеть с содроганием хотя бы часть его тела, хоть ногу в солдатском сапоге или окровавленные волосы... Тогда, пожалуй, всего этого не должно было бы быть. Тогда и не могло бы этого быть!

Я хоронил маму: она выглядела так торжественно, так приморенно и прилично в красивом гробу. Она была странной, но не страшной. Но это, это совсем не то, что смерть, убитый — не мертвый; убитый обвиняет, как если бы он кричал от великой, невыносимой боли. Мы это знаем, я и этот полицейский; мы знаем — в этой лавчонке витал призрак. Тогда-то я начал догадываться. Не знаю, может, у нас и нет души; но есть в нас нечто бессмертное, как инстинкт справедливости. Я ничуть не лучше любого другого человека, но есть во мне что-то такое, что принадлежит не мне одному, — какое-то смутное представление о некоем строгом и высоком законе. Я знаю, что неточно выразился; но в ту минуту я понял, что такое преступление и что такое оскорбление бога. Знайте, убитый человек — это обесчещенный и разоренный храм.



— А что, — промолвил пан Добеш, — убийцу поймали?

— Поймали, — ответил пан Ганак, — и я его видел, когда спустя два дня полицейские вели его из лавочки, где он был допрошен, как говорится, на месте преступления. Видел я его, может, всего секунд пять, но снова как бы под некой чудовищно увеличивающей лупой. Это был молодой парень в наручниках, и он так странно спешил, что полицейские едва поспевали за ним. На носу у него выступил пот, глаза были вытаращены, и он так испуганно моргал — видно было, что он испытывает безмерный страх, словно кролик во время вивисекции. До смерти не забуду его лица. Очень тягостно и скверно стало у меня на душе после этой встречи. Теперь его будут судить, думал я, и провозятся несколько месяцев, чтобы приговорить к смерти. В конце концов я понял, что мне, собственно, жаль его и что я, пожалуй, почувствовал бы облегчение, если бы он как-нибудь выпутался. Не то чтобы у него была симпатичная внешность, скорее наоборот; но я видел его слишком близко — я видел, как он моргает от страха. Черт побери, я ведь не кисейная барышня, но вблизи это был не убийца, это был просто человек. Сказать вам, я и сам этого не понимаю; не знаю, что бы я сделал, если бы был его судьей; но от всего этого мне было так грустно, будто я сам нуждался в искуплении.

Человек, который не мог спать

— Раз уж пан Долежал завел речь о расшифровке, — молвил пан Кавка, — то я вспомнил об одной шутке, которую однажды подстроил коллеге Мусилу. Этот самый Мусил — необыкновенно образованный и subtilный человек, этаким тип интеллектуала: во всем он видит проблемы и ищет свою точку зрения на них. Например, у него

есть точка зрения и на собственную жену, и живет он не в супружестве, а в проблеме супружества; кроме того, разрешает социальную проблему, половой вопрос, проблему подсознания, проблему воспитания, проблему кризиса сегодняшней культуры и целый ряд других проблем. Люди, которые всюду находят проблемы, столь же невыносимы, как и те, у кого есть принципы. Я не люблю проблем; для меня яйцо есть яйцо, и если кто начнет говорить о проблеме яйца, то я подумаю, что яйцо испорчено. Это я к тому, чтобы вы знали, что за человек мой коллега Мусил.

Однажды перед рождеством он решил поехать кататься на лыжах в Крконоши, и так как ему надо было еще что-то купить, то он сказал, что вернется позднее попрощаться с нами. Вдруг приходит доктор Мандел, знаете, известный публицист, тоже большой чудак, и говорит, что ему необходимо потолковать с паном Мусилом.

— Мусила нет,— говорю я,— но, вероятно, он еще заглянет перед отъездом; подождите его.

Доктор Мандел был раздосадован.

— Ждать я не могу,— сказал он,— но я напишу ему записку о том, зачем он мне нужен.

Тут он сел за стол и начал писать.

Не знаю, видел ли кто-нибудь из вас более неразборчивый почерк, чем почерк доктора Мандела. Он похож на запись сейсмографа — такая длинная прерывистая линия, которая местами то вдруг пойдет мелкой дрожью, то резко подскочит. Я-то почерк Мандела знал хорошо и просто смотрел, как его рука скользит по бумаге. Вдруг доктор Мандел нахмурился, нетерпеливо скомкал бумагу, бросил в корзину и встал.

— Нет, слишком долго писать,— пробормотал он и был таков.

Сами понимаете, в канун рождества не хочется заниматься серьезной работой; и вот я сел за стол и начал выводить на листке сейсмографические кривые: длинные ломаные линии, которые то резко подпрыгивали, то стремительно падали, следуя только моей прихоти. Поразвлекавшись таким образом, я положил листок на стол Мусилу. И тут как раз он вбежал, уже в спортивном костюме, с лыжами и палками на плече.

— Ну, я поехал! — радостно крикнул он еще с порога.

— Приходил тут какой-то господин и искал вас,— невозмутимо сказал я ему.— Он оставил вам письмо, по его словам, важное.

— Где оно? — живо отозвался Мусил.— Ну и ну,— слегка смугился он при виде моего творения.— Это от доктора Мандела, что же он от меня хочет?

— Не знаю,— проворчал я неприветливо,— он очень спешил; но, знаете, не хотел бы я расшифровывать его почерк.

— Я его закорючки умею читать,— заявил Мусил легкомысленно, поставил лыжи с палками в угол и сел за стол.

— Гм,— произнес он через минуту, став чрезвычайно серьезным. Прошло полчаса гробовой тишины.

— Так, первые два слова есть! — вздохнул, наконец, Мусил вставая.— Они означают «Дорогой коллега». Но теперь мне пора бежать на станцию. Я эту записку возьму с собой и расшифрую ее в дороге, чего бы мне это ни стоило.

После Нового года он вернулся с гор.

— Ну как вы провели время? — спрашиваю.— Сейчас, наверно, в горах красота, не правда ли, дорогой коллега?

Он только рукой махнул:

— Даже не знаю! Признаюсь, я все это время просидел не высовывая носа, в гостинице, но все говорили, что там великолепно.

— В чем же дело? — спросил я участливо. — Вы болели?

— Да нет, — ответил Мусил с напускной скромностью, — я все время расшифровывал письмо Мандела; и если хотите знать, все-таки его расшифровал! — заявил он победоносно. — Только два-три слова не смог прочесть. Я бился над ним все дни и ночи, но твердо решил расшифровать его, и я это сделал.

У меня не хватило духу сказать ему, что письмо — всего лишь мой досужие упражнения.

— А записка была такой уж важной? — спросил я с участием. — Стоила она, по крайней мере, такого труда?

— Не в том дело, — гордо ответил Мусил. — Меня это интересовало скорее как графологическая проблема. Доктор Мандел просит меня написать за две недели статью в его журнал, но вот о чем, этого я как раз и не смог разобрать; затем он желает мне весело провести праздники и хорошенько отдохнуть в горах. В общем, пустяки; зато разрешение данной проблемы, сударь, было крепким методологическим орешком и незаменимой тренировкой для ума. Это дело стоило нескольких бессонных ночей.



— Вы не должны были так поступать, — заметил укоризненно пан Паулюс. — Черт с ними, с несколькими днями, но жаль ночей без сна. Сон, сударь мой, не только отдых для тела; сон — это вроде очищения и прощения за прошедший день. Сон — особая милость; в первые несколько минут после хорошего сна всякая душа чиста и невинна, как ребенок.

Я это знаю, потому что было время, когда я лишился сна. Возможно, тут сказались последствия моей беспорядочной жизни или что-то во мне разладилось, точно не могу сказать; но стоило мне лечь в постель и ощутить под веками первое щекотание сонливости, во мне что-то как бы щелкало, и я часами лежал и таращился в темноту, пока не начинало светать. Я мучился год — год без сна.

Когда вот так не можешь уснуть, сначала стараешься ни о чем не думать; потом начинаешь считать или молиться. И вдруг всплывает мысль: боже мой, вчера я забыл сделать то-то и то-то! Потом приходит в голову, что, кажется, тебя надули в лавочке, когда ты расплачивался. Затем вспомнишь, что жена или приятель намедни ответили тебе как-то странно. Тут в доме что-то скрипнет, и ты думаешь, что это вор, и тебя бросает в жар от страха. Но как только поддашься страху, начинаешь анализировать свое физическое состояние и, взмокнув от ужаса, вспоминаешь, что тебе известно о нефрите или о раке. Без всякого повода вдруг мелькнет воспоминание о постыдной глупости, которую ты совершил двадцать лет назад, и тебя прошибает пот уже от стыда. Слово за словом ведешь ты очную ставку с этим странным, неотвязным и неискупленным «я»; со своей слабостью, собственной грубостью и мерзостью, с недугами и обидами, глупостями, конфузами и страданиями, давно отошедшими в прошлое. И возвращается к тебе все мучительное, болезненное и унижительное, что ты когда-либо испытал; нет пощады тому, кто не может спать. Весь твой мир искажается и обретает тягостную перспективу; дела, о которых ты только-только забыл, ухмыляются, словно говоря: болван, хорошо же ты тогда поступил; а помнишь, как твоя первая любовь, когда тебе было четырнадцать лет, не пришла на свиданье. Так вот знай — она тогда целовалась с другим, с твоим приятелем Войтой, и они смеялись над тобой! Эх ты, дурень, дурень, дурень! И ты ворочаешься в жаркой постели и хочешь уговорить себя: черт возьми, да мне до этого давно нет дела!

Что было, то сплыло, и точка. А я скажу вам, это не так. Все, что было, есть. Длится даже то, чего ты уже не помнишь. По-моему, память живет и после смерти.

Вы, друзья, меня немного знаете. Знаете, что я не бука и не ипохондрик, не какой-нибудь бирюк, нытик, брюзга, недотрога, ворчун, кисейная барышня, нелюдим и пессимист. Я люблю жизнь, и людей, и самого себя, берусь за все с плеча, люблю померяться силами с трудностями; короче, грубоват, как оно и подобает мужчине. И тогда, когда я лишился сна, днем я метался как попало, знай поворачивался, спешил от задачи к задаче; вы знаете, я пользуюсь счастливой репутацией деятельного человека. Но едва ночью я ложился в постель и начиналась бессонница, как жизнь моя раздваивалась. Там была жизнь дельного, удачливого, самоуверенного и здорового человека, у которого все спорится, благодаря темпераменту, смекалке и бессовестному везению. Здесь, в постели, лежал человек затравленный, который со страхом осознавал свои неудачи, позор, непорядочность и все, что было унижительного в его жизни. У меня было два бытия, которые почти не соприкасались и до ужаса не походили одно на другое: дневное, складывавшееся из успехов, деятельности, взаимоотношений с людьми и доверия, из забавных препятствий и вполне нормальных чудачеств; жизнь, в которой я по-своему был счастлив и доволен собой. По ночам разворачивалось другое бытие, сотканное из боли и растерянности; бытие человека, которому ни в чем не везет; человека, которого все предали и который сам относится ко всем глупо, малодушно и скверно; человека, обманутого во всем, трагической марионетки, которую все ненавидят и обманывают; человека слабого, который все проиграл и, шатаясь, бредет от позора к позору. Каждая из этих жизней была сама по себе последовательной, связной и цельной; когда я пребывал в одной из них, мне казалось, что другая жизнь принадлежит кому-то еще, что она меня не касается или что она лишь мнится, что она самообман и болезненная иллюзия. Днем я любил, ночью подозревал и ненавидел. Днем я жил жизнью, общей для всех нас; ночью я жил самим собой. Кто думает о себе — теряет мир.

И вот мне кажется, что сон — это как бы темная и глубокая вода. Она уносит все, о чем мы не знаем и не должны знать. Станный осадок печали, который образуется в нас, вымывается и уплывает в это безбрежное море подсознания. Наши дурные и трусливые поступки, все наши обыденные и стыдные грехи, унижающие нас глупости и неудачи, секунды лжи и нелюбви в глазах тех, кого мы любим, все то, в чем провинились мы, и то, в чем другие виноваты перед нами, — все это неприметно утекает куда-то за пределы сознания. Сон безгранично милосерден: он прощает нас и виновных перед нами.

И вот что я вам скажу: то, что мы называем нашей жизнью, — еще не все, что нами прожито; это лишь выборка. Того, чем мы живем, слишком много, больше, чем способен объять наш разум. Поэтому мы лишь отбираем то или другое, что нам подходит, и кое-как сплетаем из отобранного упрощенное действо; это сплетение мы и называем жизнью. Но сколько мы при этом оставляем в стороне, сколько обходим странных и страшных вещей, боже ты мой! Если бы человек осознал это! Но мы способны жить лишь одной упрощенной жизнью. Прожить и пережить больше было бы свыше наших сил. У нас не достало бы мочи вынести жизнь, если бы большую часть ее мы не теряли по дороге.

Перевод с чешского А. КОСОРУКОВА